

ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ

# КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (11)

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА ■ 1923 ■ ПЕТРОГРАД

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>М. Горький</i> . Автобиографические рассказы. . . . .	3
<i>Дж. Земляк, П. Незнамов, О. Мандельштам, Вера Инбер</i> . Стихи. . . . .	44
<i>Алексей Толстой</i> . „Азлита“. Роман (продолжение). . . . .	58
<i>С. Обрадович, А. Кусиков, П. Радимов, Сергей Клычков, В. Наседкин, Мих. Герасимов</i> . Стихи. . . . .	92
<i>Николай Огнев</i> . „Евразия“. Повесть. . . . .	101
<i>Всв. Ивайлов</i> . „Голубые пески“. Роман (продолжение). . . . .	127
<hr/>	
<i>А. С. Мартынов</i> . Мои украинские впечатления и размышления. . . . .	146
<i>Л. И. Аксельрод (Ортодокс)</i> . Курс лекций по историческому материализму. Лекция 2-ая. . . . .	177
<i>В. Смирнов</i> . Наше денежное обращение и пути его оздоровления. . . . .	189
<i>С. Членов</i> . Современный Берлин (Впечатления). . . . .	201
<i>И. Майский</i> , Демократическая контр-революция (продолжение). . . . .	214
<hr/>	
<b>Внутри Сов. России.</b>	
<i>Вяч. Шйшков</i> . „С котомкой“ (окончание). . . . .	235
<hr/>	
<b>За рубежом.</b>	
<i>М. Павлович</i> . Рурские события и угроза будущей войны. . . . .	259
<i>П. Кишайгородский</i> . Власть нефти. . . . .	269
<i>Н. Бухарин</i> . По скучной дороге. (Ответ моим критикам). . . . .	275
<hr/>	
<b>Литературные края.</b>	
<i>А. Воронский</i> . Литературные заметки. . . . .	290
<i>М. Левилов</i> . Организованное упрощение культуры. . . . .	308
<i>В. Кряжин</i> . История одного отречения. . . . .	319
<hr/>	
<b>Библиография.</b>	
Рецензии <i>Юрия Соболева, А. А. Неверова, М. Шанина, Ник. Смирнова, П. Сапожникова, Мих. Завадовского, Б. Завадовского, А. К.</i> и др. . . . .	328
Объявления. . . . .	353

# Организованное упрощение культуры<sup>1)</sup>).

М. Левидов.

## I. Некролог.

Основной тезис таков: революция, в отношении духовного быта, есть организованное упрощение культуры, и особенно русская революция, и особенно русской культуры. И лозунг: это упрощение есть величайшее завоевание, подлинный прогресс, уверенный и настойчивый знак плюса.

Но, давайте, условимся о терминологии. Ибо доказательство тезиса и иллюстрация лозунга требуют терминологии отчеканенной и недвусмысленной.

Культура мыслится, как совокупность благ духовного быта, т.-е. благ, удовлетворяющих потребности не первой необходимости, отвечающих и соответствующих усложненным и обогащенным потребностям. От этого определения не уйдешь: при всей банальности его, оно не мертво, не стационарно, оно таит в себе необходимую диалектическую динамику. Ибо меняются, и развиваются—пусть даже противоречиво—потребности, и соответственно этим изменениям функционирует аппарат культуры, соответственно меняется выбрасываемый этим аппаратом на рынок «набор продуктов второй необходимости», т.-е. комплекс благ духовного быта. И таким образом, культура—т.-е. комплекс, набор благ духовного быта—в отличие от набора благ материального быта (и только в этом аспекте имеет смысл ходячее противопоставление культуры и цивилизации), итак, культура остается неизменной, как логическая формула, постоянно меняя однако свое жизненное содержание.

Несомненно, для каждого ясно, что революция российская выявлялась, как процесс, воздействующий на судьбу комплекса благ материального быта, на его создание и распределение. Не так несомненно, не так ясно, что такую же роль она играла по отношению к комплексу благ духовного быта. Об этой роли пойдет речь в дальнейших строках. А также и о том, что отношение революции к культуре, т.-е. ее роль в процессе создания и распределения набора благ духовного быта, было, есть и будет сознательным, другими словами, организованным, т.-е., в конечном счете—телеологическим, целевым, пусть иногда эта цель застилалась суетливым маячением проходимых по пути век. И, наконец, пойдет речь о том, что эта цель—была упрощением. Организованное отношение революции к культуре—было, есть и будет—от-

<sup>1)</sup> В дискуссионном порядке.

шоением упрощения. Революция есть организованное упрощение культуры. Так рождается—методологически и терминологически—тезис и лозунг.

\* \* \*

Я начну с иллюстрации лозунга: лучший путь к доказательству тезиса. И прекрасно. Прекрасно, что революция выявилась, как организованное упрощение культуры. Эстетически прекрасно. Прекрасно, что исчезнет, наконец, с лица земли русской это безобразное зрелище: мужик, на которого кто-то, когда-то и почему-то напялил шелковый цилиндр. Прекрасно, наконец, что процесс организованного упрощения культуры реализовался грубыми и резкими явлениями: насильственного сбрасывания шелкового цилиндра с мужичьей головы ударом опорками по цилиндру. Стояла изба: шивая, грязная изба, тускло освещенная коптящим ночником, а то и лучевой,—но—с редкими гобеленами на стенах. Эта изба была уродством—непозволительным, оскорбляющим, как все противоестественное, уродством. В музее было место этому уродству, и в музее, в банке со спиртом было место российской культуре—культуре небывалого уродства и извращения. Подлинным извращением было, что неумятая и безграмотная, чеховская и бунинская Русь позволила себе роскошь иметь Чехова и Бунина, и более того—Скрябина, Врубеля и Блока. Из них троих только он, последний, дождал до великой радости—восстания подлинной России против гобеленов, цилиндров и самого себя, восстания, настолько величественного в своей закономерности, что он,—как и первые два,—его предчувствовал, предсказывал, предугадывал. И он, последний, успел благословить величественный удар опорками по цилиндру, как подлинный гладиатор приветствовал цезаря, умирая: ибо тогда умер Блок, после «Двенадцати», а в 1921 году лишь мертвец умею. Однако—это в скобках. Лирику оставим. Возьмем твердый, brutalный факт. А он в том, что хозяин избы содрал гобелены со шивых стен. Один из ткачей гобеленов, Белинский, писал: «На великое явление Петра народ через полтора года ответил не менее великим явлением Пушкина».

Транспортируем эту цитату на современность, и прочтем: «На великое явление Пушкина, т.е. пышной культуры на гнилых стенах избы—народ ответил через сотню лет еще более великим явлением военного коммунизма. Военный коммунизм был протестом, закономерным, социально-необходимым, а потому и радостно-прогрессивным, против явления Пушкина в стране с 90 проц. безграмотных». Этого не могут, конечно, понять современные блокские витии. Не могут понять, что оскорбительно-социально и эстетически—для народа быть удобренным, в котором так нуждаются пышные цветы культуры для немногих. Оскорбительно быть аморфным моллюском, дающим жизнь жемчужине. Быть опытным полем для художественно-эстетических опытов и достижений, материалом для оранжерей. Парником. Полтора года лет после Петра—один Пушкин. И 90 проц. безграмотных. Еще сто лет. Врубель, Скрябин и Блок. И 70 проц. безграмотных. Нет, довольно. Противоестественное уродство пора прекратить. Вопиющему уродству не должно быть более места. Банку музейную, где в поту, слезах и крови,—как лебедь горделивая и белоснежная,—плавала безмятежно культура—нужно разбить.

Так обосновывается эстетически наш лозунг: да здравствует уничтожение уродства, да здравствует революция, как организованное упрощение культуры. Теперь к тезису.

Итак, вот формула: если в области материального быта революция есть уничтожение отжившего класса помещиков и незаконнорожденного, выкидышного, искусственно взращенного, от руки вскормленного класса буржуазии, то в области духовного быта упрощающее воздействие революции является в первую голову в подлинном уничтожении некоторых, подчеркнуто тепличных, отраслей культуры. Это не значит, конечно, удар по Блоку и по гобеленам, это значит только удар по той среде, тем группам, которые производили и потребляли Блоков и гобелены. Кто эти группы и слои? Вопрос этот отнюдь не гамлетовского свойства. Ни для кого не секрет, что борьба «внеклассового» класса российской интеллигенции с революцией происходила, да и происходит, под псевдонимом «борьбы за культуру». Но тут не в Блоке с Врубелем дело. Подобно тому, как помещики защищали от революции земли, и капиталисты защищали заводы, т.-е. оба эти класса защищали свое право управлять и руководить производством и распределением благ материального быта, так и интеллигенция защищала от революции свое право управлять и руководить производством и распределением благ духовного быта, и в первую очередь, свое право заведывать тем специфически российским благом, которое именуется «идеологиями», «внеклассовым мировоззрением». Откуда появилось это благо? Методом какого отбора формировались защитники его? Вопросы не праздные: без выяснения роли интеллигенции в революции нельзя говорить об отношении революции к культуре.

Издавна так повелось на Руси.

Всякий, окончивший юридический факультет, именовался не только юристом, но и интеллигентом. Окончивший медицинский факультет—не только медиком, но и интеллигентом. Политехникум—не только инженером, но и интеллигентом. Но более того: каждый, зарабатывавший себе пропитание за прилавком магазина, за конторкой банка, за судейским столом, или адвокатским пюпитром, в редакционном кабинете, или в суфлёрской будке театра, на блестящей театральной сцене или в пыльном архиве министерства,—это можно было бы продолжить бесконечно,—одним словом, каждый, кто не занимался физическим трудом—рабочим и крестьянским, торговлей и промышленной деятельностью в тесном смысле слова, — именовался не только соответственно своей профессии, но и гордым наименованием интеллигента. То-есть получал, так-себе, здорово живешь,—этот ярлычок симпатичный, образующий нечто вроде своеобразной прибавочной стоимости к нормальной его общественной стоимости. И он получал, и жена его получала, и свояченица получала, и все чада и домочадца его получали, и собачка

его получала,—разве нет в русском языке речения: какая интеллигентная собачка?..

В материальном быту эта прибавочная стоимость,—благодаря политическим условиям самодержавия,—не могла реализоваться. И естественно, что реализация ее осуществлялась в областях духовного быта. Поскольку прибавочная стоимость эта не давала материальных прав (за исключением права на высшую расценку на рынке труда—но это уж не право, а факт), постольку она предоставляла владельцам ее безграничные почти моральные права, на которые, кстати сказать, ведь никто другой не покушался. Коротко говоря: каждый, именовавший себя интеллигентным человеком, подразумевал этим самым, что он находится на верху социальной пирамиды, поскольку она взята в разрезе духовного быта. Этот разрез не совпадал с разрезом материального быта,—и отсюда проистекает иллюзия о «внеклассовости» интеллигенции и «суб'ективные методы» в социологии. И так как,—тут следует последний силлогизм,—источник и монополия власти принадлежали в силу исторических судеб ясно очерченному социологическому классу дворянства и чиновничества, источник и монополия идеологии власти отошли в нераздельную собственность этого своеобразного «суб'ективного класса». Этот класс—вернее наиболее активные слои его — стали монопольными поставщиками не только идеологии искусства, например, но и идеологии в области социальных взаимоотношений. И с железной необходимостью эта идеология — будь то идеология западничества или славянофильства, народничества или кадетизма, приводила в последних, главных своих выводах—к формуле: мы, поставщики данной идеологии, обладаем особыми правами—выражать не свое мнение, а мнение народа, быть представителями за народ, представителями его. А говоря простой прозой,—быть источником власти и контролером власти в смысле чисто групповом и персональном. Чем осуществимее казалась эта цель, тем более дифференцировался «суб'ективный класс» (иногда вплоть до острой вражды:—народничество и кадетизм), сохраняя однако единым основной свой признак: мы добиваемся власти не для себя, а для народа через нас.

Поскольку домогательства эти и притязания основывались на учете исторического опыта—они были правильны. Если бы российская революция явилась, как этого ожидали, революцией, осуществленной буржуазией, при молчаливом сочувствии крестьянства—на французский манер, то, естественно, буржуазия контр-ассигновала бы, передоверила часть завоеванных прав и власти—именно этой группе, и обязательно, как внеклассовой группе: так гораздо удобнее буржуазии. Ведь как было во Франции: едва ли не три четверти Жиронды состояли из адвокатов и литераторов, и не даром у Родзянки фигура, как у Мирабо, а у Авксентьева голос не хуже, чем у Дантона (впрочем, дальше параллель никак не удастся провести, ибо Керенский оказался куда оборотистее Камилла Демулена, который не догадался прибегнуть к помощи тогдашнего Черчилля-Питта, а Теруань-де-Мерикур была гораздо красивее Зинанды Гиппиус).

Увы, история обманула. Правда, март уже успел передоверить права

источника, контролера и поставщика власти внеклассовым адвокатам, профессорам и литераторам: прибавочная стоимость Миллюковых, Керенских, Гессенов и Авксентьевых успела реализоваться в период март—октябрь. Но октябрь аннулировал передоверие. Октябрь выяснил, что революцию российскую сделал пролетариат в союзе с активным крестьянством, и эту революцию сделал не только против экономической, но и духовной прибавочной стоимости, против незабоеванных прав, против «внеклассовой» идеологии, против «субъективного класса» интеллигенции. Этот класс свирепо бросился в борьбу: не даром самый ожесточенный бой не только идеологически, но и фактически дал революция—социалисты-революционеры—наиболее активные представители владельцев духовной прибавочной стоимости. Сила нападения родила силу отпора: революция раздавила и уничтожила их, быстро и безжалостно.

Конечно, сражаясь за свою прибавочную стоимость, интеллигенция не могла и тут вылезти из шкуры своей, не могла не опьяниться самообманом. Ведь она воспиталась в иллюзии «внеклассовости», ведь питалась она нектаром жертвенности и амброзией самоотвержения. И потому: не свое бытие она защищала, о нет. Она выдвинула иную формулу: отчетливую, эффектную, яркую:

— Мы боремся против революции за демократизм, свободу, культуру.

Характерная ирония судьбы: субъективно-живая, объективно эта формула была правдивой. Ведь именно эта группа была потребительницей и производительницей благ духовного быта, и таким вот образом, самую силу вещей в порядок дня революции стала борьба с интеллигентской культурой, или, что то же, организованное упрощение культуры, развал прежнего духовного быта. Тем легче было этот развал осуществить, что те производители и потребители благ духовного быта, те деятели науки, литературы и искусства, кто не могли активно выступить против революции, молчаливый, но не менее злобный оттого, объявили ей бойкот. И заполнили ряды внутренней эмиграции. Или бежали за границу. Конечно, не все. Некоторые, честно и смело, сами отказали себе в праве на жизнь. Александр Блок сам отказал себе в праве на жизнь в революции. Он, возгласивший—«всем сердцем, всей душой своей слушайте революцию», горьким пониманием понял, что лишь отдаленные раскаты бури и грозы можно слушать—и слышать, а когда она пришла, революция в грозе и буре, то ее нужно делать: грязно, кроваво делать или против нее делать, — но не слушать. И он более не слушал. Понял. Ушел. В смерть. Не в мерзость буинско-гессенского бытия, не в слабость прозябания литерского Дома Литераторов. Он ушел, поистине нежный, блеклый гобелен. Другие, из племени Мережковских и Миллюковых, грязно и гадко бежали, спасая культуру, бриллианты и шкуру. Продают сейчас остатки цилиндра—засаленного и поношенного — знатным иностранцам. По дешевой цене торгуют русским искусством по берлинским кабакам.

Так вот смысл происшедшего: русская интеллигенция пошла против воли истории, выступила против революции, была побеждена ею, эмигрировала внутри и во-вне, и унесла с собой в небытие русскую культуру, то-есть свою.

интеллигентскую культуру. Русская интеллигенция более не воскреснет. Ее культура более не воскреснет. И подобно тому, как в сфере материального быта революция, разрушив производственную машину, стала воссоздавать ее методами организованного упрощения, подобно тому, как в сфере политического быта революция, разрушив государственную машину, стала воссоздавать ее методами организованного упрощения,—так и в области духовного быта: революция, разрушив старую культуру—будет,—еще не начала—тут она запоздала, по сравнению с экономикой и политикой,—лишь будет воссоздавать ее методами организованного упрощения. Об этом, то-есть о материальном содержании тезиса — организованное упрощение, — пойдет в дальнейшей речь. Но не сейчас еще. Ибо, после некролога над прошлым и перед прогнозом будущего, совершенно необходимо дать анализ настоящего, т.-е. рассмотреть те случайные, несмелые, противоречивые, но всегда неудачные, всегда ложные попытки воссоздания культуры в это революционное пятилетие.

## II. Анализ.

Да, с первых дней своих революция почувствовала потребность в со-звучных ей благах духовного быта. Прежние производители и потребители этих благ ушли, эмигрировали. Осталось пустое место, которое было заполнено немедленно, но не целиком, а лишь в части своей. Истекшее пятилетие не знает революционной науки, чуть-чуть ознакомилось с революционной техникой, но оно насыщено было звуками, красками, образами и словами, так называемого, революционного искусства, или левого искусства.

Поговорим о нем, исполнявшем должность культуры за эти пять лет. О революционных поэтах, художниках и музыкантах. О Маяковских, Татлиных и Мейерхольдах. О футуристах, имажинистах, конструктивистах. Об этих трагично обманувшихся, обманывавших себя больше, чем других.

• • •

Маяковский первый пришел к октябрю. Смело и радостно. Он, изгой, напоенный духом ненависти и разрушения, мрачный таран, взламывавший стены темницы буржуазного искусства, ломавший рифму и ритм, — о, как высоко поднял он голову в октябре, насколько своим осознал он октябрь. И естественно: ведь таким понятным и нужным казался союз левого искусства с левой революцией. За Маяковским пришла горсточка таких же как он, отринутых, пьяных пафосом мести и разрушения. Несколько художников, музыкантов, скульпторов, теоретиков. Сверкал красным огнем медовый месяц радостного союза. «Пушкина к стенке, по музеям пулями тенькать», восклицал Маяковский в Приказе по искусству. Татлин в Питере соорудил из битых стекол синтез всех искусств—башню Третьего Интернационала, панно и фресками на стенах Красного Петуха, что был на Кузнецком в Москве; воспевал Якулов октябрь; дисхроматическими гаммами мыслил рево-

люцию отщепенец Артур Лурье, о Городе-Театре грешил трагический неудачник Мейерхольд, лился пот с перьев упорных схематиков, Брижов и Кушнеров, метафизических инженеров, натужно сооружавших из призрачных материалов призрачный путь от коммунизма к футуризму. И венцом достижения, долгожданным первенцем «такого понятного и нужного союза» появился офутуризованный Охотный Ряд, торговавший в те времена пшениной кашей и поштучно присом.

Больше года длился медовый месяц, до середины 1919 тянулась социологически необходимая, но все же ошибка. Ошибка, обусловленная мышлением по аналогии, упрощенным, элементарным: левизна в политике, в экономике—предполагает коррелятивом в области духовного быта—левизну в искусстве. Она была социологически необходима эта ошибка: ведь никто, кроме деятелей левого искусства, горсточку отринутых, к революции не пришел. Их нужно было взять, нельзя было не взять, время было такое, каждый союзник был дорог. Взяли. Нехотя взяли. Ибо сознавали те, кому это полагалось, что «не то». И на поверку оказалось, что очень не то. Мышление по аналогии обанкротилось с треском, и опытным путем и теоретически. На опыте вышло, что из левого искусства ничего не вышло, и, увы, по такой прозаической причине: потребитель потенциальный вообще не захотел искусства в эти годы, а тем более левого. Да, Мистерия-Буфф понравилась. Да, «Зори» понравились. Но, о ирония революции! Этот успех был успехом d'estime. Ибо революционный потребитель в этом не нуждался: на фронтах гражданской войны он находил и Мистерию, и Буфф, и соборное творчество «Зорь». И соответственно меценатствующее государство понимало, что оно в этом не нуждается. После первого припадка нежности—так сказать, нежности по долгу, — государство попятилось. Теоретически, это правильно объяснялось: в рабоче-крестьянском государстве—примат и государственная поддержка рабоче-крестьянскому искусству, а не мелко-буржуазным беспочвенникам, анархистам и изгоям. Теория, конечно, справедливейшая, но и психология за ней крылась характернейшая. Мольеровские коммунисты «*stalgré eux*» (есть и такие) должны были на чем-нибудь отыграться: левизна в политике, левизна в экономике—это само собой, но позвольте нам роскошь не иметь левизны в искусстве. Какое естественное, человеческое, психологически оправданное рассуждение... Нет нужды, что, будучи подсознательным, оно облекалось в иные слова и фразы: оно выпирало наружу, кричало. Так не нужно же удивляться, что Маяковский потратил больше труда на постановку Мистерии-Буфф, нежели на создание ее; не нужно удивляться, что расплылось левое искусство, встреченное кисло-сладко государством и равнодушно либо враждебно потребителем; что октябрь в искусстве оказался всего только неудачным июльским левоз-эровским бунтом, что разложился этот бунт в гниющем анархизме махновцев левого искусства—имажинистов, что с приятным чувством хорошо выполненного и нужного долга был снесен с лица Москвы гнусно выцветший и жалко облезший футуристический Охотный Ряд. Чапушка и плакат остались от левого искусства. Революция рассудила: взяла и с жадностью про-

глотила частушку и плакат, — взрывавшие белые фронты, — отбросило претензию меценатов и изгоев, обманывавших себя чаще, чем других — создать искусство по аналогии с революцией, революционное по существу, а не по приложению. Революция сказала: революционно лишь то искусство, которое можно революционно приложить, революционно использовать. А потому — да здравствует теория относительности, долгой абсолютные истины левого искусства. И революция была права.

• • •

Опыт с левым искусством, комфутизмом — не удался. Это была неудача быстрая, резкая, ударная. Но параллельно с ней развивалась другая неудача, в противовес ей — медленная, тягучая, затянувшаяся до нынешнего момента и на своем длинном пути разбавленная блестящими отдельными удачами.

Речь идет о пролеткультуре, о пролетарском искусстве, вернее пролетарской поэзии.

Опять кажущаяся такой простой, потрясающе верной и соблазнительно реальной логика: рабоче-крестьянское государство нуждается в своей культуре, так пусть путем организованного отбора, найдет оно потенциальных производителей этой культуры и поставит их в условия, гарантирующие ценность и эффективность производства.

И опять жизнь внесла поправку. Коварную поправку. Такую незначительную, казалось бы...

Пролетарское искусство было незаметно как-то подменено пролетарской поэзией. А вместо пролетарских драматургов пролетстудии дали пролетарских актеров.

Не нужно уходить в дебри теории словесности, чтоб отчетливо и категорически понять: поэзия в искусстве — это оперная ария в музыке. Легкая кавалерия в современной армии. Но еще не искусство. Но еще не музыка. Но еще не армия.

Отнюдь не намерен я отрицать наличие больших талантов среди двух или трех десятков пролетарских поэтов. Но разве это важно? Разве цель была в том, чтобы найти талантливых крестьян и рабочих?..

Отнюдь не намерен я отрицать, что произведения талантов этих иногда революционны по форме, почти всегда по существу. Но и не в этом дело. Дело в том, что автобиографию и лирику нельзя положить краеугольным камнем здания новой культуры. А пролетарская поэзия не может не быть, как и всякая поэзия — лирикой, а разве всякая лирика, в последнем счете, не есть противопоставление индивида коллективу? И пролетарская поэзия уперлась, как обречена всякая поэзия — в автобиографию, — где гордо выпяченное «я» сменило — требование времени — квази-коллективным «мы». Бальмонты, Гиппиусы говорили — наше гордое «я». — Кирилловы, Родовы говорят — наше гордое «мы», а подлинные творцы пролетарского искусства скажут, просто, но убедительно: они, мир, космос.

Тут произошло выявление личности через класс. А предполагалось выявить класс через личность.

Это по существу. А рассуждая чисто имманентно: разве можно спрятаться от того факта, что, отбрасываемые от Сицилы дилетантизма к Харрибде профессионализма, пролетарские поэты тоскуют по студии, находясь на заводе. благословляют завод, когда в студии. Место в жизни утеряно.

• • •

Таковы две, донэповские попытки создать культуру,—вернее искусство, созвучное революции. Обе исходили от государства, и от обеих государство отказалось с приходом нэпа. Но каприз истории—при нэпе, левое искусство, почти разложившееся в 1920 году—неожиданно воскресло в формах производственного искусства, конструктивизма, биомеханики. И опять со знаменем, на котором написано: левый фронт искусства, т.-е. единственное искусство, имеющее право на существование при революции, единственное искусство, могущее явиться базисом революционной культуры.

Специальное рассуждение будет иметь место в дальнейшем, на тему о том, поскольку, вообще говоря, искусство может явиться базисом культуры. Но и без специальных рассуждений ясно, что лишь фронт смятенный, горячих и неудачных исканий можно открыть в самодовлеющем эстетизме и фетишизировании тела (специально на зло старому театру) мейерхольдовских и форежеровских постановок... Что лишь фронт одиночек,—объединенных одинаковостью своего одиночества и это психологическое родство претворяющих путем чисто словесных построений в созвучно-звенную цепь,—можно найти в группе Асеева—Маяковского—Третьякова и их периферии... Что, стоя на правильном пути, взхуемасцы только стóят на нем, но не движутся, ибо путь этот, в данной его стадии—многоуольная площадь с разветвляющимися дорогами, и неизвестно, куда идти... Что, наконец, «левый фронт» в искусстве, в данный момент, вообще говоря, имманентная нелепость, ибо нет правого фронта, ибо совсем нет фронтов, как и нет теоретического осмысления искусства: и недаром единственная сейчас действительная группа молодых производителей беллетристики, с парадоксальностью времени объединяются лишь тем, что принципиально отрицают лозунги, направления и школы в искусстве,—ведь Серапионовы братья—чистойшей воды агностики в искусстве, утвердители хаоса, и, каковы бы ни были их личные симпатии и отталкивания,—подлинные дети нэпа. Согласен: деятели «левого фронта» в искусстве пасынки нэпа. Согласен: их попытки взнуздать идеологический хаос, порожденный нэпом,—героичны. Согласен: отверженные и буржуазной культурой, и революционным государством, и воинствующим нэпом,—они великолепны в своем трагизме одиночек. Но увы, этого всего еще мало, чтоб на них строить прогноз грядущей культуры Новой России.

### III. Прогноз.

Не знаю, обратил ли внимание читающий эти строки на некую странность: и в нашем «Некрологе» и в нашем «Анализе», говоря о культуре, мы все время подменяли этот термин словом искусство. Это приходилось делать по необходимости: и до революции, и в первое пятилетие революции, культура русская, т.-е. совокупность благ духовного быта, на 90% заполнялась материалом искусства. Причины тому ясны, о них шла речь в «Некрологе»: квалифицированные потребители культуры в дореволюционную эпоху требовали духовных благ высшей расценки, и прекрасно сознавали, что по табели о духовных рангах театр «выше» кинематографа, а рассказ Андреева «интеллигентнее» детективного романа. Голоса мертвых, посмертное влияние производителей и потребителей духовных ценностей буржуазной эпохи отразились, залегли подсознательным комплексом в психике строителей культуры истекшего пятилетия. Не только за истекшее пятилетие комплекс духовных благ понимался как литература, поэзия, театр, живопись, но вдобавок, как усложненные, рафинированные литература, поэзия, театр, живопись. Но потребитель запротестовал. Но не поставил точку. И вот теперь только наступает момент—он растянется на десятки лет—когда революция сможет приступить к выполнению своей подлинной задачи относительно культуры—к организованному упрощению культуры.

И тут пора остановиться на материальном содержании этого тезиса, анализированного до сих пор лишь формально. Оно весьма элементарно это содержание: организованное упрощение, это означает, во-первых, отведение минимального места в комплексе ценностей духовного быта—ценностям высшей расценки—литературе, поэзии, театру, живописи, музыке, т.-е. в совокупности своей—искусству, и, во-вторых, максимальное удешевление этих ценностей.

Да, низведение на свое место самого дорогого—в смысле несоответствия издержек производства и результата—элемента культуры, а именно искусства, есть задача дня. Не только в том дело, что искусство дорого: — оно, кроме того, капризно и анархично. И, наконец, никогда не предмет массового потребления. Культура, построенная на искусстве—всегда для немногих. Производство же его равномерной тяжестью ложится на всех. Техника и наука, высвобожденные из-под власти Далай-лам и бонз, должны на 90% заполнять содержание упрощенной культуры. Не Беллинского и Гоголя должен мужик с базара понести, а популярное руководство по травосеянию. Не стихосложению нужно обучать рабфаковца, вне обычного его курса, а стенографии. Не театральные студии нужно открывать в деревнях, а студии скотоводства. И, наконец, обобщив все это единой формулой: не эстетическое удовольствие, пассивное по существу своему, а импульс к действию и волю к творчеству должны давать потребителю блага духовного быта. Таков должен быть их характер, чтобы они возбуждали в каждом потребителе их

волю стать производителем и предоставляли возможность производства. А это достижимо лишь путем замены в комплексе культуры ценностей искусства—ценностями науки и техники. Нет нужды говорить о том, какую активную роль может сыграть в этом процессе государство, и особенно государство наше, преодолевшее буржуазную идеологию «свободной игры стихийных сил». Таково наше, во-первых.

И, во-вторых, организованное упрощение культуры предполагает максимальное удешевление ценностей искусства. Не боясь слов, нужно сказать: замена их суррогатами.

Ну, конечно же, в новой России забавной сказкой прозвучит рассказ о том, что была такая эпоха, когда литература, беллетристика считалась «учительной», «святой», «героической», «страдательной», когда поставщик этой литературы был «властителем дум», «светочем». Забавной и нелепой сказкой. Будущий читатель—ныне уже нарождающийся—не станет искать в романах и рассказах «прямого ответа на проклятые вопросы». Литература для него займет ее подлинное место: не поучения, не обличения, а только и исключительно развлечения. Качественно ничем не отличающегося от всякого другого развлечения. И сейчас уже чувствуется, что будущая русская литература—лет этак на пятьдесят—будет литературой широкого, размашистого, красочного репортажа—без всяких, заметьте, «мировых скорбей», либо увлекательной, сочной, островолнующей авантюрной литературой. Не чтения—с трепетом душевным и благоговением, будет искать новый читатель, а занятого, отдых дающего чтения.

Или вот. То, что именовалось в теории российской словесности—общей публицистикой, когда время от времени появлялись этакие Мессии и пророки, «жегшие сердца людей», «ударявшие в набат». И это не нужно будет новому читателю. Ведь, предполагаем мы, новый читатель, новый гражданин России, прекрасно будет знать и свое место в жизни и отчетливо сознавать интересы той группы, к которой он принадлежит, и совсем ему будет не нужно, чтоб кто-нибудь со стороны о нем заботился. Эпоха пророков и благодетельствуемой ими паствы—слава богу—прошла в России. Поэзия—корь современной России. Ничего, эта корь пройдет—болезнь возраста. Конечно, группа подростков в жизни всегда будет существовать, но ее потребности целиком будет осуществлять «Общество изучения поэтического языка»—«Опояз». Но не думаю, что Опояз будет занимать в области духовного быта место более видное, чем фабрика леденцов в области быта материального.

И наконец театр. Этот колоссальный блефф, именующийся гордо «проблемой театра»—будет, в конце концов, разоблачен. Будет, в конце концов, понятно, что подлинный потребитель театра имеет лишь один подход к театру: как к отдыху после трудового дня, и предъявляет лишь одно требование к нему—развлекать, а не утомлять, при чем ему глубоко безразлично, как это развлечение осуществляется: методами ли реалистическими, символи-

ческими или био-механическими, лишь бы это было хорошо сделано и хорошо подано. Но не подлежит сомнению, что в табели о рангах духовных ценностей упрощенной организованно культуры—место театра будет за кинематографом, особенно, если ведущая ныне на Западе работа комбинации кинематографа со звуковыми эффектами даст достижения.

Да, все это будет гораздо проще. Но здоровее. Меньше издержек производства и больше общедоступных результатов. Дешевле, но общественно полезнее. Таков лозунг, такова цель упрощенной организованной культуры, таковы будут плоды революции в области духовного быта.

Это много, это важно, но это еще не все. Организованное упрощение культуры имеет еще общественно-гигиеническое значение. В смысле оздоровления психики производителя и потребителя ценностей культуры.

А именно: при новой культуре немислимо будет зарождение прибавочной стоимости у производителей и потребителей.

Возьмем потребителей. Совершенно естественно, что поскольку литература была «учительной», то поскольку те, кто «учились» — механически переходили в высшую категорию, становились «интеллигентами». Существовало нелепое явление—об этом шла речь в «Некрологе»: был класс спецпотребителей духовных ценностей. За двенадцать рублей годовых подписчик «Мира Божьего», к примеру, получал вечный патент на некое вечное благородство душевное. Потреблявший «Журнал для Всех» получал патент рангом пониже. Нужно ли говорить, что такое явление немислимо при организованном упрощенной культуре, потребление ценностей которой не может создать прибавочной стоимости, ибо ценности-то эти принципиально равны не только одна другой, но и ценностям культуры материальной. Никаких патентов на благородство. Потребитель симфонии Бетховена удовлетворяется наслаждением, полученным от симфонии, отнюдь не объективируя этого своего наслаждения как признака некоей особой своей общественной ценности. А эта последняя определится не характером его потребления—типичная черта буржуазного строя—а степенью его производительности в той отрасли производства, коей он занимается.

Тут нужно повторить: *степенью производительности, а не отрасль производства*. Ибо, при новой культуре, немислимо будет появление прибавочной стоимости по *признаку* производства.

Ибо лишь при организованном упрощении культуры засияет вечной жизнью классическая формула социализма: всякий труд одинаково почетен поскольку он общественно полезен. Все производители-спецы равноценны; разница между спецами-производителями, лишь в степени талантливости их спецовства. Нет неравенства профессий, есть лишь неравенство талантов которое тоже, в конце концов, сглаживается методами коллективного производства.

И вот это уничтожение психологического неравенства—величайшее достижение общественной гигиены—возможно лишь на почве организованно упрощенной культуры.

Так будет. Будет не скоро, но в значительной части еще на наших глазах. Ибо уж начинается процесс организованного упрощения культуры.

Уже исчезло из обихода молодого поколения это проклятое слово «интеллигент», это бескостное, мяклое, унылое, мокрокурццное слово, подобного которому не найти ни в одном человеческом языке. Исчезло, и заменилось бойким, красочным, подчеркнутым термином—спец.

Уже исчезает и тяга к незаработанной прибавочной стоимости.

У зубного врача в приемной уж не валяются книжки Уайльда, а провизор ухаживает за своей барышней без помощи цитат из Вейнингера.

Правда, я знаю, хотя уже благополучно в Берлине сидят Степпуны, но еще водятся в России самодельные Шпенглеры и всякие Гершензоны.

Доживающие свой век интеллигенты не так скоро доживут его. Но они последние могоканы. Но они доживут. И через 20—30 лет исчезнет племя интеллигентов с лица земли русской. Племя археологов, гробокопателей. Недавно была у них великая радость. Открыли план «Жития великого грешника» и неизданную главу «Бесов». Может быть, и радость. Когда археологи курган раскапывают и утварь каменного века находят,—это тоже радость... для археологов. И мне кажется, что для новой России, с организованно упрощенной культурой—Достоевский будет от каменного века. Не нужна новой России утварь каменного века, самая надрагоценнейшая. В музей ее, под стекло.

Достоевского в музей, а Россию из музея, из банки со спиртом, в живую жизнь. Вот где смысл и значение организованного упрощения культуры, которое осуществит революция. Быть может, в этом, а значит и в том, что у интеллигента отнята прибавочная стоимость—и есть величайшее революции достижение.

Через смерть—к жизни. Да здравствует тот недалекий день, когда вымрет окончательно, физически и духовно, эмиграция внутри России и во-вне!